

Слово и молчание в русской культуре

Михаил Эпштейн

Первая публикация: журнал "Звезда", 10, 2005, С. 202-222.

Перепечатано:

Слово и молчание. Метафизика русской литературы. М.: Высшая школа, 2006.

Ирония идеала. Парадоксы русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2015, С. 247-281.

1. Тишина и молчание

Молчание обычно толкуется как отсутствие слов и противопоставляется речи. Людвиг Витгенштейн, заканчивает свой «Логико-философский трактат» известным афоризмом: «6.54. О чем невозможно *говорить*, о том следует *молчать*».¹ "Wovon man nicht sprechen kann, dar über muß man schweigen." Молчание начинается там, где кончается речь. Здесь выражено присущее логическому позитивизму стремление отделить наблюдаемые «атомарные» факты и доказуемые, «верифицируемые» суждения, от области так называемых метафизических тайн. О последних нельзя производить логически состоятельных суждений — и поэтому следует молчать.

Но верно ли, что молчание и слово исключают друг друга? Парадокс в том, что само построение витгенштейновского афоризма, параллелизм его частей, объединяет молчание и говорение и тем самым ставит под сомнение то, что хотел сказать автор. «*О чем невозможно говорить, о том следует молчать*». Значит, у молчания и речи есть *общий предмет*. Именно невозможность говорить о *чем-то* делает возможным молчание о *том же самом*. Молчание получает свою тему от разговора — уже вычлененной, артикулированной, и молчание становится дальнейшей формой ее разработки, ее внесловесного произнесения. Если бы не было разговора, не было бы и молчания — не о *чем* было бы молчать. Разговор не просто

¹Людвиг Витгенштейн. Философские работы, ч.1, М., «Гнозис», 1994, с. 73.

отрицается или прекращается молчанием — он по-новому продолжается в молчании, он создает возможность молчания, обозначает то, о чем молчат.

Молчание следует отличать от *тишины* — естественного состояния беззвучия в отсутствие разговора. Предмет еще не выделен, пребывает, так сказать, в именительном падеже, еще не встал в предложный падеж, чтобы стать темой разговора — или молчания. Нельзя сказать «тишина о чем-то», или «быть тихим о чем-то» — тишина не имеет темы и не имеет автора, она, в отличие от молчания, есть состояние бытия, а не действие, производимое субъектом и относящееся к объекту. Кратко это различие выразил М. Бахтин: «В тишине ничто не звучит (или нечто не звучит) — в молчании никто не говорит (или некто не говорит). Молчание возможно только в человеческом мире (и только для человека)».²

О том же различии свидетельствует лингвистический анализ Н. Д. Арутюновой: "глагол *молчать*... предполагает возможность выполнения речевого действия".³ Про немого или иностранца, не владеющего данным языком, обычно не говорят, что они "молчат", это предикат относится только к существу, способному говорить, а значит, само молчание принадлежит виртуальной области языка. Выбор между речью и не-речью — это скрытый акт речи.

На различии тишины и молчания построен рассказ Леонида Андреева «Молчание»: после самоубийства дочери вся тишина, какая только есть в мире, превращается для ее отца-священника в молчание, которое давит и преследует его, поскольку выражает нежелание дочери ответить на вопрос, почему же она бросилась под поезд, выбрала смерть. «Со дня похорон в маленьком домике наступило молчание. Это не была тишина, потому что тишина — лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят». И потом, придя на могилу дочери, отец Игнатий «ощутил ту глубокую, ни с чем не сравнимую тишину, какая царит на кладбищах, когда нет ветра и не шумит омертвевшая листва. И снова о. Игнатию пришла мысль, что это не тишина, а молчание. Оно разливалось до самых кирпичных стен кладбища, тяжело переползало через них и затопляло город. И конец ему только там — в серых, упрямо и упорно молчащих глазах» — в глазах его погибшей дочери, которая накануне самоубийства отказалась отвечать на вопросы отца и матери о том, что мучило ее.⁴

²М. М. Бахтин, Из записей 1970-71 годов, в его кн. Эстетика словесного творчества, М., «Искусство», 1979, С. 338.

³ Н. Д. Арутюнова. Феномен молчания, в кн. Язык о языке, под общим руководством и редакцией Н. Д. Арутюновой. М., Языки русской культуры, 2000, С. 418

⁴Леонид Андреев. Избранное. М., «Современник», 1982, сс. 82, 87.

Хотя внешне, акустически молчание тождественно тишине и означает отсутствие звуков, структурно молчание гораздо ближе разговору и делит с ним интенциональную обращенность сознания на что-то. Как говорил Гуссерль, сознание есть всегда «сознание-о». Молчание есть тоже форма сознания, способ его артикуляции, и занимает законное место в ряду других форм: думать о..., говорить о..., спрашивать о..., писать о..., молчать о... Влюбленные могут говорить, а могут и молчать о своей любви. Еще в древности ту же мысль о "словности" и смыслонаполненности молчания выразил Аполлоний Тианский, греческий мистик-неопифагореец: «молчание тоже есть логос».⁵

Можно так перефразировать заключительный афоризм витгенштейновского "Трактата": *«О чем невозможно говорить, о том невозможно и молчать, потому что молчать можно только о том, о чем можно и говорить»*. Или, формулируя предельно кратко, *«молчат о том же, о чем и говорят»*. То, о чем невозможно говорить, пребывает в тишине, а не в молчании, как не-предмет, не «о».

Отсюда тенденция осознавать тишину, которая доходит до нас из прошлого, как молчание о чем-то, невысказанность чего-то, хотя сами вопросы, о которых молчит прошлое, часто исходят именно от настоящего. Например, «молчание» Древней Руси, о которой с недоумением и болью пишут русские мыслители XX века, скорее всего была просто тишиной, предсловесностью. Лишь после того как реформы Петра развязали России язык, подарили ей новую интенциональность образованного, светского разговора и изящной словесности, допетровская эпоха стала восприниматься как молчаливая. Как отмечает Георгий Флоровский в «Пути русского богословия» (1937), «с изумлением переходит историк из возбужденной и часто многоглаголивой Византии на Русь, тихую и молчаливую. /.../ Эта невысказанность и недосказанность часто кажется болезненной.»⁶ Об этом же писал Георгий Федотов в статье «Трагедия древнерусской святости» (1931): «Древняя Русь, в убожестве своих образовательных средств, отличается немотой выражения самого глубокого и святого в своем религиозном опыте».⁷ Словесные эпохи, да еще такие многоглаголивые, как русский XX век, осмысляют тихие времена как молчаливые, вкладывая в них свою интенцию говорения и вместе с тем не находя в них никакого воплощения этой интенции.

⁵ Цит. по кн. Norman O. Brown. *Love's Body*. New York, Vintage Books, 1966, p. 256,

⁶ Прот. Георгий Флоровский. *Пути русского богословия* (1937). Париж, YMCA ПРЕСС, 4-ое изд., 1988, сс.1, 503.

⁷ Г. П. Федотов. *Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры*, в 2 тт. С.-Петербург, изд. «София», 1991, т. 1, с. 307.

2. Слово как бытие

Итак, при всей противоположности слова и молчания они рождаются из одного интенционально-смыслового поля и в предельных случаях обратимы. Порой создается ситуация, при которой «слово ничего не говорит», а «молчание говорит все» или «слово говорит о том же, о чем молчит молчание». Символом этой традиции может служить русская икона первой половины 18-го века «Иоанн Богослов в молчании».⁸ На иконе мы видим Иоанна Богослова, левой рукой открывающего свое Евангелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть...» Правая рука Иоанна Богослова поднесена к его устам и как бы налагает на них знак молчания.

На первый взгляд, смыслы этих жестов прямо противоположны: одна рука открывает «Слово», другая призывает его утаивать. Но суть в том, что на высшем уровне слово и молчание взаимообратимы: о чем Иоанн говорит в своем писании, о том же он и молчит своими устами. Когда молчание и слово говорят об одном и том же, сказанное приобретает двойную значимость.⁹ Именно потому, что «Слово было Бог», оно требует молчания и произносится в молчании. «Всевышний говорит глаголом тишины» (Ф. Глинка).

Отсюда и основополагающее для восточнохристианской мистики и аскетике «умное делание»: непрерывное внутреннее произнесение молитвы, которая приводит ум в состояние полного безмолвия. Исихазм (буквально «безмолвие»), учение, возникшее среди афонских монахов в 14 в., — это, в сущности, и есть дисциплина умолкания-через-говорение, т.е. произнесение такого внутреннего молитвенного Слова, которое есть само бытие и исключает внешнюю речь, действие языка. Слово, через которое «все начало быть» — очевидно, само является бытием. Оно не сообщает о чем-то, находящемся вне слова, оно не информативно, а формативно. В дальнейшем мы будем различать эти две функции слова: *формативную* и *информативную*. Очевидно, то Слово-Логос, которым Бог сотворил мир согласно библейской Книге Бытия — это формативное слово. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Бытие, 1:3). «И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так» (Бытие, 1:9). Слово, которое «сказал Бог», не сообщает о свете, о воде и суше, как если бы они уже существовали, но само творит все эти начала мироздания, как и то Слово-Логос, о котором говорится

⁸ Икона хранится в Иркутском художественном музее. Я сужу о ней по репродукции, изданной Иркутским отделением Российского фонда культуры (ВРИБ «Союзрекламкультура», 1990 г.). Известно, что Евангелие от Иоанна считается самым сокровенным, «тайноведческим» из всех евангелий и именно поэтому мистически связанным с православием — в том же ряду символических соответствий, где преемственность церковной власти сближает ап. Петра с католичеством, а свобода богословского исследования сближает ап. Павла с протестантизмом.

⁹ Письменное слово вообще предполагает молчание, вбирает его в себя и именно поэтому подлежит толкованию, «договариванию» того смысла, который в нем сокрыт.

в начале Евангелия от Иоанна. Когда же словом впервые начинает пользоваться человек, в его устах оно приобретает другую, назывательную функцию. Господь приводит к человеку все сотворенные существа, «чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым...» (Бытие, 2:19-20). Те существа, которым человек дает имена, существуют независимо от этих имен. Слово Бога творит мир, слово человека сообщает о мире.

Очевидно, что человеческий язык, в контексте этих библейских представлений, несет прежде всего информативную – назывательную, именовательную — функцию, сообщая о мире, находящемся за пределами языка. Но нельзя отнять у языка и формативную функцию, которая особенно ясно выступает в «священном языке», на котором человек обращается к Богу и сам как бы уподобляется Богу. Таков язык заклинания и молитвы, цель которых — не сообщать о каких-то явлениях, но вызывать сами явления.

3. Бытийственность русского слова

Особенность русского языка, которую выделяют ряд писателей и мыслителей, — это формативная направленность, или «бытийственность». Вряд ли можно дать однозначное объяснение этому свойству русского языка, но полезно вспомнить, что в своей письменной форме он с самого начала возник как «священный язык», как язык перевода Библии. Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий — они же и миссионеры, принесшие слово Божие языческим народам. По словам Ломоносова, «сие богатство (русского языка — М. Э.) больше всего приобретено купно с греческим христианским законом, когда церковные книги переведены с греческого языка на славенский для славословия Божия».¹⁰ Возможно, эта первородная связь с греческим языком, причем не разговорным, а языком священного Писания, отчасти объясняет «врожденную» склонность русского языка к священнодействию: он предназначен для "славословия Божия". Язык не сообщает о бытии, но сам есть бытие.

Пожалуй, лучше всего об этом сказал Осип Мандельштам:

«Русский язык — язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий, живые силы эллинской культуры, уступив запад

¹⁰Михаил Ломоносов. Предисловие о пользе книг церковных в российском языке. Цит. по кн. Русские писатели о языке. Хрестоматия, под общей ред. А. М. Докусова.Л., Гос. уч.-пед. изд., 1954, с. 16.

латинским влияниям и не надолго загаживаясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи..., и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью. /.../ Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полнотою явлений, полнотою бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни. Эллинистическую природу русского языка можно отождествить с его бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие. /.../ Ни один язык не противится сильнее русского назывательному и прикладному назначению. Русский номинализм, т.е. представление о реальности слова, как такового, животворит дух нашего языка...»¹¹

Русский язык потому и противится назывательному и общительному предназначению, что настоящая жизнь происходит не вне его, в называемом и сообщаемом, а в нем самом — он бытийствует за счет всех других видов бытия. Язык — единственно плотная, осязаемая реальность, которая в России окружена морем менее реальных вещей. Оттого и литература, точнее литературность, словесность (не только художественная) есть основа всей русской истории. Вопреки мнению Чаадаева, что Россия не принадлежит к историческому кругу народов, Мандельштам утверждает, что «столь высоко организованный, столь органический язык не только дверь в историю, но и сама история».¹² В России историчен только язык, а все прочие явления не бытийствуют или полубытийствуют. Вещи хотят быть названными, сообщенными, но язык живет собственной жизнью, он сам себе вещь, единственная, на которую дано прочно опереться национальному самосознанию. «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» (Тургенев). Такая традиция «языковерия» и «языкопоклонства» в России увенчалась в начале 20-го века религиозным движением имяславия, на сторону которого встали значительные русские мыслители того времени: Павел Флоренский, Сергей Булгаков, Алексей Лосев. По словам схимонаха Илариона, основателя движения, «в имени Божиим присутствует сам Бог — всем Своим существом и всеми своими бесконечными свойствами».¹³ Сергей Булгаков подчеркивал именно формативную, или,

¹¹О. Мандельштам. О природе слова. Собр. соч. в 3 тт., т. 2, Нью-Йорк, Международное Литературное Сообщество, 1971, сс. 245, 246

¹²Ibid., с. 247.

¹³Схимонах Иларион. На горах Кавказа. Беседа двух старцев подвижников о внутреннем единении с Господом через молитву Иисус Христову, или Духовная деятельность современных пустынников (1 изд. — 1907).

можно сказать, магическую функцию слова: «...в тайне именованья, которая есть и тайна языка, содержится творческое *да будет...*»¹⁴

Вот это творческое «да будет», произносимое, как в первый день творения, над все еще «пустынной и безвидной землей», над «темной бездной», и составляет глубинное основание слова и словесности в России, где обнаруживается шаткость и зыбкость всех другие оснований. Отсюда повторяемость и заклинательность слова, стремление наполнить собой пустое пространство — и отсюда же впечатление его странной немоты, слабой связи с означаемыми. «Русский номинализм» приводит к избыточности языка в его собственной «звучащей и говорящей плоти» и к недостаточности его «назывательных и прикладных свойств», сквозящих семантической пустотой. Когда слово всецело становится бытием, оно уже ничего не говорит, оно молча бытийствует, его физическое звучание равно семантическому беззвучию. Слово-Бытие произносится в молчании, именно потому, что оно ничего не сообщает, но само являет себя.

Отсюда, на низших уровнях жизни русского языка, такие явления, как Фома Опискин и Иудушка Головлев, бесконечная вязь и плетение изоощренных, "душегнойных" словес. Бессмыслицей витиевато-вкрадчивой речи Иудушка унижает и мучит собеседников. А на высших уровнях языка — Гоголь, Достоевский, Платонов, сам Мандельштам, у которых язык есть действительно «звучащая и говорящая плоть», слово растет из своих корней, обрастает приставками и суффиксами, набирает вес самодостаточного бытия, не укорачиваясь до условного знака, служебного наименования, — оно само есть то, что оно значит. Например, говоря о «бытийственности русского слова», Мандельштам мог бы подкрепить этот тезис самим словом «бытийственность». Слово нарастает кольцами, как ствол, растущий из первообразного корня. Что такое «бытийственность»? Где она, в чем? Да вот в этом самом слове. Сначала первообраз — глагол «быть», из него растет существительное «бытие», где действие становится уже самостоятельным явлением. Затем слово приобретает суффикс "ств", переходя то ли в абстрактное существительное «бытийство», то ли в зародыш глагола «бытийствовать», т.е. уже не просто быть, но быть самим бытием, обладать свойством бытия. Далее это свойство, наращивая суффикс «енн», развертывается в прилагательное «бытийственный», которое в свою очередь, на последнем витке, наращивает суффикс «ость» и становится опять существительным, вобравшим в себя «быть» во всех его последовательно развернутых свойствах действия, явления и признака (глагола, существительного, прилагательного). Что же такое «бытийственность»? Это бытие в качестве бытия, способность чего-то не просто быть, но быть бытием. Слово крепко сложено, но все-таки чрезмерно в своих суффиксальных

¹⁴Сергей Булгаков. Философия имени. Париж, 1953, с.73.

наростах, не передает информации, но являет "бытийственность" в самом своем составе. По-английски было бы нечто вроде «beingfulness» или даже «beingfulness» (4 суффикса) — слово, в английском языке, конечно, немислимое. Перед нами тот случай, когда и одно слово кажется многословным. При всей избыточности словообразовательных составляющих, в нем ощущается некоторая внутренняя немота: слово не сообщает, но именно бытийствует.

4. Идеология и магия слова.

Слово-фикция у А. Чехова, Д. Хармса и В. Сорокина

Вспомним теперь хрестоматийное высказывание Гоголя о меткости русского слова, которое так пристанет к человеку, что уже не отлепишь его.

«Выражается сильно русский народ! /.../ Живой и бойкий русский ум... не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а вклеивает сразу, как паспорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом... Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко так вырвалось из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово».¹⁵

Действительно, слово так крепко прилепляется к человеку, что живет вместо него. Если Плюшкин — «заплатанной», то так и умрет «заплатанным». Этим и восхищается Гоголь: если народ «наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище... ничто не поможет...» Это низовое проявление того, что Мандельштам назвал «бытийственностью» русского слова, но что можно назвать также смысловым вампиризмом — слово выедает предмет, подменяет его собой, вытягивет жизнь из предмета.

Именно эта «меткость» русского языка, способность размашисто налеплять клички, которые затем уже не отклеиваются от предмета, впоследствии стала надежным орудием советской идеологии. Собственно, вся идеология представляла собой систему "метких слов", или кличек-клише: если Николай I — то «Палкин», если Николай II, то «Кровавый», если царская

¹⁵ Н. В. Гоголь, Мертвые души (гл. 5). Соб. соч. в 7 тт., т. 5, М., Художественная литература, 1985, сс. 101-102.

Россия, то «тюрьма народов», если партия — то «ум, честь и совесть нашей эпохи», если писатели, то «инженеры человеческих душ», если Троцкий — то «Иудушка» и «наймит мировой буржуазии», если Ленин, то «самый человечный человек». Собственно, даже имена собственные первоначально были кличками — Ленин, Сталин, Троцкий: пристали и уже не отстали. Да и любая единица идеологического лексикона — «ударник», «кулак», «патриот», «космополит» — была сродни кличке, поскольку не просто называла предмет, но навешивала на него оценку, заклинала «будь!» или «не будь!» Недаром Маяковский постоянно сравнивает слово с оружием, приравнивает перо к штыку, т.е. сводит на нет информативную и возвеличивает формативную, орудийную функцию языка. Идеология — язык заклятий и проклятий, словесная ворожба, которая вполне достигала своей цели и преображала окружающий мир, точнее, превращала его в фикцию. Лев Шестов напрямую связывал идеологическую "диктатуру слова" при большевизме с пережитком магии. Революционная Россия "верит в магическое действие слова. Как это ни странно, но большевики, фанатично исповедующие материализм, на самом деле являются самыми наивными идеалистами. Для них реальные условия человеческой жизни не существуют. Они убеждены, что слово имеет сверхъестественную силу. По слову все делается – нужно только безбоязненно и смело ввериться слову. И они вверились. Декреты сыплются тысячами /.../ И никогда еще слова не были так уныло однообразны, так мало не соответствовали действительности..."¹⁶

Слова скучнеют и тупеют потому, что, не умея творчески преобразить реальность, вместе с тем разучились ее отражать; они оказываются формативно бессильными и информационно пустыми. Как замечает Бродский в «Послесловии к «Котловану» А. Платонова,

«Платонов сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны... Но в случае с Платоновым речь идет... о зависимости писателя от самой синтетической (точнее: не-аналитической) сущности русского языка, обусловившей... возникновение понятий, лишенных какого бы то ни было реального содержания. /.../ ...Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее — о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впадшем от него в грамматическую зависимость. Мне думается, что поэтому Платонов непереволим и, до известной степени, благо тому языку, на который он переведен быть не может».¹⁷

Синтетический строй русского языка проявляется, в частности, в том, что предметное значение слова оказывается неотделимым от оценочного,

¹⁶ Шестов Л. Что такое русский большевизм? Странник: Литература, искусство, полемика. 1991, вып. 1, с.49.

¹⁷ Сочинения Иосифа Бродского. СПб, Пушкинский фонд, 1995, сс. 50, 51.

семантика от прагматики.¹⁸ Сравнивая русский и французский языки в своей «Сопоставительной лексикологии», В. Г. Гак приходит к выводу: «Нейтральные французские слова имеют русские эквиваленты с отчетливо отрицательными или положительными экспрессивными оттенками... Очень часто одно стилистически нейтральное французское слово находит параллель в нескольких русских словах с различными стилистическими качествами (негативное, позитивное, нейтральное)».¹⁹ Например, французское слово *entente* лишено экспрессивного оттенка, но может быть передано по-русски только несколькими словами с разными оценочными значениями: положительное — «согласие», отрицательное — «сговор», нейтральное — «соглашение». Французское *fameux* имеет по крайней мере три русских эквивалента: позитивный — «знаменитый», негативный — «пресловутый», и нейтральный — «известный». Здесь, опять-таки оценочный компонент внедрен в лексическое значение русского слова, тогда как во французском должен составить отдельную лексическую единицу.

Такие "меткие слова", или слова-метки, как «сговор» или «сборище», «пособник» или «сподвижник», «миролюбие» или «примиренчество», «согласие» или «соглашательство», не столько называют явление, сколько колдуют над ним, совершают магический акт его возвышения или снижения, приказывают ему быть или не быть. Слово, которое подчиняет семантику прагматике, это и есть заклинание. «Ленин» — это слово-заклинание, потому что оно не только указывает на индивида Владимира Ульянова, но и приписывает ему в прагматике советского языка такие свойства, как «вождь всех трудящихся», «величайший гений», «самый человечный человек». «Кулак» — это слово-заклинание: оно не только указывает на зажиточного крестьянина, но требует его уничтожения. Слова «интернационалист» и «космополит», или «патриот» и «шовинист» — тоже «синтетические», причем они указывают на одно и то же явление, только дают ему две разные клички, действуют как "приворот" и "отворот". Идеологема — это «меткое слово» на службе власти. Как бы ни менялся Чемберлен и его политика, но кличка «цепного пса реакции» от него уже не отстанет, так же, как кличка «примкнувшего к ним Шепилова». Эти клички бесконечно повторяются и

¹⁸ Обычно языки синтетические, такие, как русский, противопоставляются языкам аналитическим, таким, как английский или французский, по линии сращения или размежевания семантики и синтаксиса. В синтетическом языке, грамматические и лексические значения выражаются одной лексической единицей, тогда как в аналитических языках они выражаются раздельно. Например, русское слово «брату» содержит лексическое значение «брат» и грамматическое значение обращенности, направленности, дательного падежа. По-английски эти два значения выражаются аналитически, двумя лексическими единицами, существительным *brother* и предлогом *to*. Можно, далее, распространить различие синтетического и аналитического строя на соотношение в языке семантики и прагматики, т.е. предметно-номинативных и экспрессивно-оценочных значений, денотации и коннотации.

¹⁹ В.Г. Гак. Сопоставительная лексикология. М., Международные отношения, 1977, с. 99.

совершенно заборматывают сам предмет, который мыслится только под определенным ярлыком, оценочной наклейкой.²⁰

В. И. Ленин писал:

«Нас упрекают в том, что мы «вдалбливаем» упорно одни и те же лозунги. Мы считаем этот упрек за комплимент... Мы должны миллионы и миллиарды раз повторять...»²¹ Советская идеология на все сто процентов использовала это свойство языка заговаривать предмет, приклеивать к нему кличку и бесконечным повторением придавать ей видимость или слышимость бытия. Оттого так вампирически «кипит и трепещет» слово, что в него перешла жизнь предмета, а сам он заглох и умер.

Павел Флоренский, в духе русской философии имени, отстаивал магическую функцию слова как наиглавнейшую, предполагая, что она может начисто исключать понимающую или сообщительную функцию. «...Магически мощное слово не требует, по крайней мере на низших ступенях магии, непременно индивидуально-личного напряжения воли, или даже ясного сознания его смысла». И приводит пример:

«Знахарка, шепчущая заговоры или наговоры, точный смысл которых она не понимает, или священнослужитель, произносящий молитвы, в которых иное и самому ему не ясно... ..Контакт слова с личностью установлен, и главное дело сделано: остальное пойдет уже само собою, в силу того, что самое слово уже есть живой организм, имеющий свою структуру и свои энергии».²²

Под влиянием такой магии человек становится одержим словом, бесконечно повторяет его, не отдавая себе отчета в его смысле. Как шаман или дервиш, слово вертится вокруг своей звуковой оси, превращаясь, по выражению русских "будетлян", в самовитое слово. Не только политики, но и художники – футуристы, концептуалисты — точно утилизировали это заумное свойство слова, которое употребляется как бессмысленная, но якобы спасительная магическая формула. Поэтому, например, в рассказах и романах Владимира Сорокина ключевой прием — превращение подчеркнуто правильного, мудрого, идеологически нагруженного слова в мантру, и точно такой же коллапс действия, скучновато-правильного, нудного,

²⁰ Подробнее об идеологическом слове см. М. Эпштейн. Идеология и язык. Построение модели и осмысление дискурса. "Вопросы языкознания", 1991, №6, С.19-33.

²¹ Дмитрий Галковский. Бесконечный тупик. М., Самиздат, 1997, с. 491.

²² П. А. Флоренский. Магичность слова, в его кн. /Сочинения/, т. 2. У водоразделов мысли», М., «Правда», 1990, с. 273.

последовательного, вдруг переходящего в некий безобразный и бессмысленный ритуал.

В рассказе В. Сорокина «Геологи» ведется «деловой» разговор о сложной ситуации, в которой оказались геологи — то ли беречь с трудом добытые образцы, то ли идти на поиск заплутавших товарищей. Стилль и интрига вполне достойны лучших образцов соцреализма. «Что же — бросить друзей в лавиноопасной зоне, а самим сматывать удочки?!» Ведется долгий спор, обыгрывающий все клише «проблемного», «производственного» рассказа. Наконец самый опытный из геологов Иван Тимофеевич, по просьбе младших товарищей, высказывает свое авторитетное мнение:

«-Оценивая сложившуюся ситуацию, мне кажется, что надо просто помучмарить фонку.

В наступившей тишине Алексеев качнул головой. По его лицу пробежало выражение восхищения:

-А ведь верно... как я не додумался...»

Вслед за своим магом-наставником геологи хором повторяют:

«-Мысль, мысль, мысль, учкарное сопление

-Мысль, мысль, мысль, полокурый вотлок.»²³

В этом рассказе Сорокин воспроизводит некий ритуал, призванный решить профессиональную проблему, подобно тому, как в произведениях соцреализма сходные проблемы решались ритуалом партийного собрания или заседания политбюро, а также многократным произнесением мантр типа «партия и народ едины», «кадры решают все», «смерть врагам народа» и т.д.

В другом рассказе Сорокина «Заседание завкома» необычайно длинно обсуждается вопрос, что делать с отстающим рабочим Виктором Пискуновым: он не выполняет норму, приходит на работу пьяный, грубит начальству... Нагнетаются фразы типа «Мы же завком! Заводской комитет профсоюза, товарищи! Профсоюзы — это кузница коммунизма! Это ведь Ленин сказал!» В числе проработчиков выступает и местный милиционер, который советует нарушителю чаще слушать классическую музыку, поскольку она "облагораживает человека". "Бах, Бетховен, Моцарт, Шостакович, Прокофьев".

²³ Владимир Сорокин. Первый субботник. М., Ad Marginem, 2001, С. 30.

Опять звучат великие имена, которые в контексте идейной проработки становятся мантрами, заклинаниями, абсурдно отрываются от своих означаемых.²⁴ Затем милиционер извиняется — ему пора на музыкальную репетицию — и исчезает за дверь, чтобы через минуту появиться из-за нее с «диким, нечеловеческим ревом».

«—Про... про... прорубоно... прорубоно... — ревел он, тряся головой и широко открывая рот».

«Прорубоно» звучит похоже на слово «проработано», как будто в ораторском пылу, под идейным нажимом чуть-чуть расплывается звук, сейчас товарищ поправится... Но вот уже и другие участники заседания впадают в неистовство и начинают выкрикивать «прорубоно» и другие наречные глоссолалии²⁵ — «пробойно», «прободело», «убойно», «вытягоно», «сливо», «нашпиго», «набиво», «напихо». Одновременно они совершают соответствующие ритуальные действия — пробивают трубой тело заводской уборщицы, выливают из нее кровь, напихивают в нее червей и т.д.

« -Нашпиго! Набиво! — заревел милиционер.

-Напихо червие! Напихо червие! закричала Симакова...

-Напихо червие, — повторял Старухин, — Напихо...

-Напихо в соответствии с технологическими картами произведенное на государственной основе и сделано малое после экономического расчета по третьему кварталу, — бормотал Урган».²⁶ Урган все еще находится во власти производственного жаргона и впихивает в него новые магические формулы, как будто не замечая подмены. Да в сущности, и нет никакой подмены, потому что «технологические карты», «экономический расчет», «третий квартал» — это в советском языке такие же заклинания, как «набиво» и «прорубоно». Или "Бах" и "Бетховен".

У Сорокина мы наблюдаем, как идеологическое слово, завинчиваясь туго, до предела, срывается в заговор и ворожбу. Хорошо знакомые и, казалось бы, внятные идеологемы превращаются в жуткие глоссолалии, которые несут тот же «проработочно-прорубонный» смысл. Тем самым выявляются и сгущаются формы магизма, присущие даже повседневным словам, которые зацикливаются на себе, уже ничего не сообщают, а только заговаривают, воспроизводят свою собственную бытийность.

²⁴ Мантра (санскрит) — «стих», «заклинание»; в древнеиндийской традиции магическая формула заклинания богов, часто передаваемая от учителя к ученику.

²⁵ Глоссолалия (от греч. glossa – язык и lalia – болтовня, пустословие) – произнесение бессмысленных звукосочетаний, сохраняющих некоторые признаки связной речи (деление на слова, на слог и т.п.)

²⁶ Владимир Сорокин. Заседание завкома, там же, С.52, 53.

5. Слово-фикция. А. Чехов и Д. Хармс

Возможен и еще более крутой поворот в отношении слова и бытия, когда отношения между ними вообще прекращаются, когда слова превращаются в чистые фикции, единственная функция которых — ничего не значить, но при этом звучать, акустически имитируя речевой акт. Звук создает иллюзию безопасности, поскольку в нем проявлено бытие другого, тогда как молчание воспринимается как затаенность и скрытая угроза.

Мы напряженного молчанья не выносим -

Несовершенство душ обидно, наконец!

И в замешательстве уж объявился чтец,

И радостно его приветствовали: просим!

О. Мандельштам, 1912

Чтеца рады слушать не столько из-за смысла его слов, сколько ради успокоительного качества гладко льющейся речи. В советское время стали пользоваться этим целительным свойством речи для прямо противоположной цели: убивать "под разговор". Все расстрельные кампании 1930-50 гг. велись под непрерывную "читку", под неумолчный идеологический шум любимых в народе репродукторов, который внушал людям чувство безопасности. Государство с ними разговаривает, зачитывает статьи, стихи, сводки погоды, столько сил тратит на правильную речь — значит, заботится и защищает. Но оно убивало, ясно и светло глядя в глаза, на полуслове, на плавном повороте фразы. Так, как в рассказике Д. Хармса «Григорьев и Семенов»:

Григорьев (ударя Семенова по морде): Вот вам и зима наступила. Пора печи топить. Как по-вашему?

Семенов: По-моему, если серьезно отнестись к вашему замечанию, то, пожалуй, действительно пора затопить печку.

Григорьев (ударя Семенова по морде): А как по вашему зима в этом году будет холодная или теплая?

Семенов: Пожалуй, судя по тому, что лето было дождливое, зима будет холодная. Если лето дождливое, то зима будет холодная.

Григорьев (ударяя Семенова по морде): А вот мне никогда не бывает холодно.

И т.д., вплоть до развязки:

Григорьев (ударяя Семенова каблуком по морде): Говори, говори! Послушаю.

Семенов (валится на спину): Ох!

Писатель Дмитрий Галковский, разбирая этот рассказ Хармса, замечает, что русский язык «превращает общение в избиение и убийство. Русский язык — язык палачей и жертв. /.../ Ни на Западе, ни на Востоке такой дикий, жуткий «диалог» совершенно невозможен. Во-первых, избиение происходило бы молча...»²⁷ Нельзя с этим не согласиться. Суть в том, что слово в данном рассказе вообще не имеет отношения к делу, оно движется самостоятельным путем, по кривой, уводящей от действия. Оно семантически пусто, ничего не сообщает, поэтому может легко удаляться и от предмета разговора, и от происходящего при этом избиения. Почему Григорьев беседует с Семеновым о погоде? Издевается? Успокаивает расшалившиеся нервы? Никакие психологические объяснения здесь не помогут, да они и вряд ли приложимы к хармсовскому персонажу, лишенному характера. Здесь нужна семиотика речи, а не психология личности. Тема погоды не случайна здесь лишь в том смысле, что она наиболее случайна из всех возможных тем: разговор о погоде есть наиболее ритуальная, семантически нулевая форма социального общения. Как только в разговор прорывается нечто от происходящего — «Ох!» Семенова — как разговор тут же и завершается. Функция сообщения, информации, даже если она выражена всего лишь междометием боли, вредит разговору, который не может вынести такого надругательства над своей отвлеченной, фиктивной сущностью.

Хармс лишь доводит до предела то, что уже намечено у Чехова — разрыв между речью и происходящим. Например, в «Дяде Ване» Астров говорит Войницкому:

«Сегодня, многоуважаемый Иван Петрович, погода недурна. Утром было пасмурно, словно как бы на дождь, а теперь солнце. Говоря по совести, осень выдалась прекрасная... и озими ничего себе... Вот только что: дни коротки стали».²⁸

²⁷ Д. Галковский. Бесконечный тупик, сс. 65, 66.

²⁸ А. П. Чехов. Соб. соч. в 12 тт., т. 9, с. 515.

Чеховская интонация прямо предвосхищает хармсовскую, потому что произнося издевательски ритуальные фразы о погоде, Астров, в сущности, бьет Войницкого по морде, как Григорьев — Семенова. Перед нами сцена жесточайшего морального избиения, поскольку Войницкий, влюбленный в Елену Андреевну, только что застал ее в объятиях Астрова, замечания которого о погоде звучат для него убийственно. Происходящее обозначено ремаркой в скобках: «Войницкий (вытирая лицо). «А? Ну, да... хорошо...» Вытирает лицо, потому что получил по морде, — а разговор все о той же «погоде». Рассказ Хармса — это по сути гипербола и пародия основного чеховского приема: пустить речь по кривой от действия.

Здесь видно, что сила Чехова, как и сила Хармса, вовсе не в подтексте. Оттого, что человека избивают под сурдинку разговора о погоде, сам разговор не становится более глубоким и значительным, обремененным некими смыслами. Дело не в подводном течении, не в смысловой насыщенности слова, а как раз напротив, в издевательском отсутствии смысла, радикальном отличии слова от действия. Между ними нет ничего общего. И слово может быть пошлым и поверхностным, и действие пошлым и поверхностным. Ни избиение, ни тем более разговор о погоде никакой глубины в себе не содержат. Если бы действия и слова подкрепляли друг друга, это производило бы просто плоское и жалкое впечатление. Но дело в том, что совмещаются две пошлости, которые почти ничего общего не имеют друг с другом: разговор об одном, а действие — о другом. Эффект производит именно двойная пошлость, внутри которой, в разрыве речи и действия, как будто что-то помещается — но там не помещается ровно ничего, это двуслойное «ничто» и производит иллюзию объемности речи и действия. Чехов — великий мастер создавать двойную пошлость и тем самым снимать впечатление пошлости. Две пошлости, которые делаются одновременно, — это для нормального восприятия слишком много, и оно пытается объединить их неким глубинным восприятием. Поэтому самое слышное в пьесах Чехова, как и в рассказах Хармса — это молчание самого слова.

6. Три литературных эпизода. Молчание внутри и вокруг слова

Мы кратко остановимся на трех знаменитых эпизодах молчания в русской литературе: (1) немая сцена в развязке гоголевского «Ревизора»; (2) молчание Христа в ответ на монолог Великого Инквизитора в «Братьях Карамазовых», и (3) немая сцена из чеховского «Вишневого сада». При всем различии этих эпизодов, можно заметить, что молчанию предшествует словоизвержение.

У Гоголя это реплики самых пустых и неугомонных городских болтунов Бобчинского и Добчинского. Именно они принесли «весть» о ревизоре, породив эту грандиозную фикцию, от которой теперь столь же упорно отрещиваются.

«Бобчинский. Ей-богу, это не я, это Петр Иванович.

Добчинский. Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первые того...

Бобчинский. А вот и нет; первые-то были вы.»

В этот момент и появляется жандарм с вестью о прибытии настоящего ревизора, после чего следует немая сцена.

У Достоевского монолог Великого Инквизитора, от имени которого говорит «умный и страшный дух небытия», также не находит себе словесной реакции у собеседника. На все обвинения Христос отвечает молчанием — и безмолвным поцелуем в бескровные уста своего обвинителя, своего предателя, нового Иуды, который служит уже не Христу, а тому, кто искушал его в пустыне. Поцелуй Христа повторяет евангельский поцелуй Иуды и переворачивает его смысл. На отступничество Великого Инквизитора, выраженное в слове, ответить можно только любовью, которая превышает слов. "Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая и кимвал бряцающий". (1 Коринф.,13:1). Таким звоном и бряцанием вдруг оказывается вся речь Великого Инквизитора перед молчанием Христа. Его поцелуй, в свою очередь, запечатывает уста, изрекающие ложь, и возвращает им достоинство молчания. Он имеет двойное значение — как прекращение речи и ответ на речь.

У Чехова перед немой сценой разглагольствует Гаев, самый многословный из всех пустословов «Вишневого сада». Чем больше он говорит, тем больше вокруг него скапливается немоты, которая потом разряжается каким-то странным, потусторонним звуком.

«Гаев (негромко, как бы декламируя). «О природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живишь и разрушаешь...»

Варя (умоляюще). Дядечка!

Аня. Дядя, ты опять!

Трофимов. Вы лучше желтого в середину дуэлетом.

Гаев. Я молчу, молчу.

Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздаётся отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный». ²⁹

Как только Гаев замолкает, природа вставляет свое «слово». Встревоженные дачники относятся к этому странному звуку именно как к слову, пытаются разгадать его источник и смысл. То ли это бадья сорвалась в шахте, то ли это крик цапли или уханье филина, то ли знак несчастья... Раневская вздрагивает, на глазах у Ани появляются слезы. Потому-то и молчат чеховские герои о главном, что чувствуют бессилие любой речи – и тогда речью становится звук лопнувшей струны.

Во всех трех эпизодах, у Гоголя, Достоевского и Чехова, именно там, где человеческое слово достигает избыточности, обнаруживается его недостаточность. Слово не столько называет, сколько замалчивает свой предмет. Безмолвие скапливается в самих словах, как невыговоренность смысла, его оглушенность словом. В конце концов воцаряется тяжелое молчание — это призраки заглушенных, заговоренных предметов встают вокруг слов и начинают громко, оглушительно молчать о себе. Устами Бобчинских и Добчинских, Гаева, Великого Инквизитора слово ничего не называет, но выкликает само себя. Это не Логос-Царь, а Логос-Самозванец. И когда появляется настоящий царь — Ревизор у Гоголя, Христос у Достоевского, природа у Чехова — то это молчащий Логос. Молчание приходит как возмездие лже-Слову, как разоблачение его самозванства.

О русской культуре можно услышать два противоположных мнения:

молчаливая, застенчивая, целомудренная культура, берегущая свой сокровенный смысл, стыдящаяся его выговорить, вывести наружу;

необычайно говорливая, утомительно суесловная культура, в которой слова заменяют дела.

По сути, оба эти мнения верны и не опровергают, а усиливают друг друга. Два свойства русской культуры — молчаливость и многоречивость — взаимосвязаны. И это не простая антиномия, где оба противоположных положения верны. Само молчание растет и усиливается по мере говорения, и сама говорливость происходит от напряженности и невыразимости молчания. Молчание растет вместе с речью, нагнетается под словами. Русская

²⁹А. П. Чехов. Соб. соч. в 12 тт., т. 9, Пьесы, М., ГИХЛ, 1961, с. 634.

словесность тем и удивительна, что выставляет наружу свою глубинную бессловесность, громко и упорно молчит, пряча это молчание за обилием слов.

В этом плане художник и теоретик концептуализма Илья Кабаков рассматривает трех вышеупомянутых писателей — Гоголя, Достоевского и Чехова:

« ...В нашей великой литературе, в уме, нервах, памяти каждого из нас невроз бесконечного говорения, реализации себя в словах по преимуществу, непрерывное, без конца и края бушующее море слов, преодолевающее все собою. /.../ Достоевский... Общеизвестно, что основную массу текстов его романов составляют бесконечные, безудержные обсуждения. /.../ О них можно сказать, что это не обсуждения чего-то лежащего «в самом начале», а прежде всего обсуждения самого обсуждения. В романах представлены то короткие, то длинные, то чудовищного размера гирлянды, цепи этих обсуждений. Каждый читатель... оказывается вовлеченным в самый процесс многоступенчатых, многоярусных ссылок, отступлений, отношений, дополнительных побочных изъяснений, ответов на прошлые ссылки... /.../ Это можно сравнить с бесконечным мороком дознаний, следственного кошмара, мучительного безвыходного делопроизводства, где петли одного «отношения» вяжутся с петлями другого «заявления», образуя тошнотворную сеть «отношения на отношение», откуда ни один из героев выбраться не может». /.../ ...Этот порочный круг суждений, мнений, взглядов возможным оказывается тогда, когда все они имеют своим пределом пустоту.. У Чехова мы видим все ту же ситуацию, ту же тему. Здесь все герои не живут, а говорят. /.../ Изначальное ощущение пустотности обнимает почти пространственно все слова, поступки, позы этих героев, оно стоит за всем, что происходит с ними — но они говорят. Они говорят, чтобы заполнить эту пустоту, чтобы не дать ей оказаться на сцене рядом с ними и чтобы не потонуть, не исчезнуть в ее беззвучно звенящем ужасе. Надо говорить, говорить не переставая, ткать непрерывную сеть из слов, фраз, мнений, уже с самого начала лишенную смысла.»³⁰

Кабаков по сути указывает на то, что Мандельштам торжественно провозгласил бытийственностью русского слова. "Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полнотою явлений, полнотою бытия..." Но это и означает, что "надо говорить, говорить не переставая", держать бытие на кончике своего языка; замолчать – значит исчезнуть, умереть, не быть. "Я говорю, следовательно, существую"; я слышу себя, значит, я емь. Говорение — единственный способ "заговорить", заковать пустоту окружающего мира, безмолвие которого в ответ на эту

³⁰Илья Кабаков. Жизнь мух (тексты на русском, немецком и английском). Kolnischer Kunstverein. Edition Cantz, 1992, pp. 112, 128, 130.

нескончаемую речь становится все более грозным. Паскаль писал об ужасе человека, говорящего существа, перед лицом безмолвной вселенной. «Меня ужасает вечное безмолвие этих пространств».³¹ Ни в одной другой стране нет такого пространства, как в России, и нигде оно не безмолвствует так громко, наводя ужас на говорящих и побуждая их говорить все быстрее и громче, заглушая свой страх слышимостью собственного словесного бытия. Но чем больше они говорят, тем более тяжелое молчание их окружает.

7. Вековая тишина. Русский кодекс молчания

Вековое молчание народа, как будто и не прерывавшееся со времен Древней Руси, создает такое смысловое напряжение, которое у интеллигенции прорывается потоком слов и оборачивается «литературоцентризмом» российской цивилизации. Таково социальное расслоение этих двух полюсов в русской культуре: многословие интеллигенции и молчания народа. Избыток слов у одной стороны оборачивается их отсутствием у другой.

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России, -
Там вековая тишина.

Н. А. Некрасов

Контраст, обозначенный у Некрасова, наводит на мысль о взаимообусловленности русского витийства и русской тишины. Не оттого ли шумят в столицах, чтобы заглушить напряженное молчание страны, превратить молчащих если не в говорящих, то хотя бы в слушающих?

Казалось бы, именно «вековая тишина» России позволяет гулко разноситься в ней каждому слову, даже сказанному шепотом — жаждущий слух так и впивается в него, тогда как на Западе, с его многовековой традицией гласности, почти невозможно быть услышанным. Философ В. В. Бибихин замечает:

«Взявшие слово беспрестанно говорят и говорят народу в уши, колдуя словом... А ведь они имеют возможность говорить только потому, что их молча и терпеливо слушают. Такое умеет не каждый народ. Мыслитель и поэт чувствуют: слово на этом просторе звучит; пространство такое, что слово на

³¹ Паскаль, Мысли, 206.

нем слышно. То, что такое пространство есть, — событие мировой истории...»³²

Действительно, в молчащей стране слово разносится далеко и громко. Но еще громче, еще слышнее само молчание. Говорящий не получает отклика на свои слова — как будто они падают в глубокий колодец, который не возвращает даже звука падения. "Народ безмолвствует" (А. Пушкин). "Русь, куда же несешься ты? дай ответ. Не дает ответа" (Н. Гоголь). Эта тема в русской словесности едва ли не столь же традиционна, как и тема пророка, жгущего глаголом сердца людей. Собственно, пророк-то и находит себя внезапно в обществе немых, а возможно и глухих. Вот знаменитая некрасовская «Элегия» (1874) — та, что провозглашает: «Я лиру посвятил народу своему». Как же отвечает народ?

...И песнь моя громка!.. Ей вторят доли, нивы

И эхо дальних гор ей шлет свои отзвывы,

И лес откликнулся... Природа внемлет мне,

Но тот, о ком пою в вечерней тишине,

Кому посвящены мечтания поэта, -

Увы! не внемлет он — и не дает ответа...

Почти сто лет спустя Евгений Евтушенко пишет стихотворение «Долгие крики» (1963) — о том, как с одного берега реки поэт кричит туда, где «народ», пытаясь дозваться перевозчика. Но на том берегу — мертвая тишина:

Дремлет избушка на том берегу.

Лошадь белеет на темном лугу.

Криком кричу и стреляю, стреляю,

а разбудить никого не могу. /.../

И для крестьян, что, устало дыша,

спят, словно пашут, спят не спеша,

так же неслышен мой голос, как будто

³² В. В. Биbihин. Язык философии. М., «Прогресс», 1993, с. 379.

шелесты сосен и шум камыша.

«Не внемлет он и не дает ответа». «Неслышен мой голос». Вызывает сомнение мысль В. Биbihина о том, что в России «молча и терпеливо слушают» всякого взявшего слово. Что молчат — это ясно, а вот слушают ли? а если слушают, то слышат ли? а если слышат, понимают ли? Именно русская словесность, с ее "долгими криками", обращенными к народу, делает слышимой ответную тишину, и поскольку эта тишина звучит именно в ответ на слово, она тем самым воспринимается как молчание. Советская эпоха, с ее нескончаемым извержением "правильных" слов в народ, тоже пыталась опереться на литературную классику, но только усугубила эффект гулкого молчания в ответ. В "Чевенгуре" Платонова коммунист Симон Сербинов, направленный переустроить жизнь деревенских масс, "читал вслух Глеба Успенского в избах-читальнях. Мужики жили и молчали, а Сербинов ехал дальше в глубь Советов..."³³ Вероятно, для того, чтобы раскулачивать, ссылать, истреблять врагов народа. Так уж прописано в русском кодексе молчания. Если под разговор о погоде или изящной словесности легче убивать, то жизнь, чувствуя эту инозначность слова, прячется в молчание.

Еще один пример. Если у Некрасова и Евтушенко народ не слышит поэта, то в стихотворении Дмитрия Александровича Пригова к народу обращается простая женщина из народа.

По волнам, волнам эфира

Потерявши внешний вид

Скотоводница Глафира

Со странною говорит...

...А страна вдали все слышит

Не видна, как за рекой

Но молчит и шумно дышит

Как огромный зверь какой

³³ Андрей Платонов. Соб. соч. в 5 тт., т. 2. М., Информпечать, 1998, С. 282.

"Слово на этом просторе звучит" (В. Бибихин). Да, но оно нервно звучит: ежится и ерничает, кривляется и поддевает, потому что оказывается безотзывным. Диалога не получается, слово превращается во внутренний монолог говорящего. Говорить = слышать себя. Я слышу себя, значит, я существую. Слово страдает агорафобией, страхом "вечного безмолвия этих пространств» (Паскаль). В молчании и тишине есть нечто царственное, а слово ощущает себя на этих просторах самозванцем.

Именно то, что дает слову звучать так громко, в конце концов заглушает его, превращает в белый шум. О чем можно говорить, о том можно и молчать. Все сказанное уходит в молчание — и остается лишь то, о чем писал Д. Мережковский: «Жизнь ушла в бессловесную глубь. Теперь то, что пишется, значительнее того, что печатается, то, что говорится, — того, что пишется, и, наконец, то, что умалчивается, — того, что говорится».³⁴

Такова природа русской негативности: все, что сказано, тотчас мелькает и отбрасывается в сторону, как неглавное. «Мысль изреченная есть ложь» — русский кодекс молчания. И чем значительнее писатель, тем более таинственным представляется исходящее от него молчание. Достоевский так заканчивает свою речь о Пушкине: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».³⁵ Свою статью о Вл. Соловьеве Д. Мережковский называет «Немой пророк», потому что о самом главном, о «грозящем натиске подземных сил... Вл. Соловьев сам ничего не говорит или говорит не словами, а мановениями, знаками, как немой. Да, немой, несмотря на десяток томов сочинений».³⁶ И потому — «будем надеяться, что тайну вещей немоты его разгадает когда-нибудь более внимательная критика».³⁷ В Чехове Мережковский ценит то, что он не вмешивался в шумные толки о вечности и смысле бытия, а отшучивался — вообще «свято молчал о святом».³⁸ И Пушкин, и Вл. Соловьев, и Чехов кажутся безмолвными, несмотря на обилие сказанного, на многотомные собрания сочинений.

³⁴ Цит. по Дмитрий Мережковский. Избранное. Кишинев, Литература Артистикэ, 1989, с. 543.

³⁵ Ф. М. Достоевский. Пушкин. (Очерк). Полн. соб. соч., т. 26, Ленинград, «Наука», 1984, с. 149.

³⁶ Д. С. Мережковский. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. М., Советский писатель, 1991, с. 118-119.

³⁷ Ibid., с. 126.

³⁸ «Я был молод; мне все хотелось поскорее разрешить вопросы о смысле бытия, о Боге, о вечности. И я предлагал их Чехову, как учителю жизни. А он сводил на анекдоты да на шутки. /.../ Мне было досадно, почти обидно: я ему о вечности, а он мне о селянке. /.../ Надо было наговорить столько лишнего, сколько мы наговорили, надо было столько нагрешить, сколько мы нагрешили, 49 святыми словами, чтобы понять, как он был прав, когда молчал о святом. /.../ Какая радость, какая святость молчать о святом». Д. С. Мережковский. Асфодели и ромашка, в его кн. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. М., Советский писатель, 1991, с. 49-50.

И даже Розанов, который создал новый, «тотальный» род словесности... У Розанова, особенно в последних его дневниковых книгах, сама повседневная жизнь, в которой люди обычно молчат, работают, бездельничают, рожают детей, занимаются пустяками, — стала словесностью. В результате этот плодовитейший писатель девальвировал язык, подорвал статус литературы, сгноил ее избытком слов. После Розанова в русской литературе наступила нехватка воздуха: рты открываются, губы шевелятся — а сказать нечего, иссяк кислород... Вокруг розановского словесного эксперимента быстро выросла тишина, грозная зона молчания, советский Гулаг языка. После Розанова, который успел сказать обо всем и со всех точек зрения, единственными осмысленными словами стали военные приказы и указы ЦК. Но и сам Розанов, столько наговорив, в сущности, ничего не сказал, и при переводе на другой, более информативный язык мало кто понимает, что же он, в конце концов, хотел выразить, не в отдельных репликах, а в сумме всех высказываний. Даже самый страстный обожатель Розанова в современной литературе, написавший тысячестраничное введение к его сочинениям — роман-автокомментарий «Бесконечный тупик», Дмитрий Галковский признает, что «содержание книг Розанова равно нулю. Он действительно НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛ и ушел в иной мир великим молчуном».³⁹ Да и сам Галковский, окружая некое изначальное «ничто» своей книги рядами многослойных комментариев, «отношений на отношение», сознательно сводит ее содержание к абсолютному нулю, к "бесконечному тупику". Он пишет в авторецензии, включенной в книгу: «Великий Одинокий океан порождает для испытываемого читателя целую серию фантомов, которые, вереща, кривляясь и высовывая языки, загоняют его в бесконечный тупик последнего молчания».⁴⁰

8. Два молчания: политическое и мистическое

Как относятся к молчанию в России? Русские пословицы и поговорки, приводимые В. Далем, противоречат друг другу. О молчании говорят одобрительно:

Слово — серебро, молчание — золото.

Кто молчит, не грешит.

Умный молчит, когда дурак ворчит.

³⁹ Д. Галковский. Бесконечный тупик, с.323.

⁴⁰ Ibid., с. 677.

Доброе молчание лучше худого ворчания.

Молчанкой никого не обидишь.

Кто молчит, тот двух научит.

И осудительно:

Молчбою прав не будешь.

Крепкое молчание ни в чем не ответ.

Молчит, как пень.

Молчит, как мертвый, как неживой.

Играть в молчанку.

Не та собака кусает, что лает, а та, что молчит да хвостом виляет.

Кажется, что речь идет о двух разных молчаниях: мудром, смиренном – и мертвом или грозном.

Так раздваивается смысл молчания в восприятии не только фольклора, но и развитой культуры. С одной стороны, есть недоверие к молчанию как к форме приспособленчества — начиная от грибоедовского Молчалина, который «не смеет своего сужденья произнести», а потому

...дойдет до ступеней известных,

Ведь нынче любят *бессловесных*, -

и вплоть до известной песни Александра Галича:

Все молчалники вышли в начальники,

Потому что молчание — золото.

Разумеется, галичевская ироническая заповедь:

Промолчи — попадешь в первачи.

Промолчи, промолчи, промолчи!-

звучит совершенно иначе, чем тютчевское:

Молчи, скрывайся и таи

И чувства, и мечты свои...

Silentium

У Тютчева молчание относится к глубочайшей душевной тайне, к тому, что должно остаться неизреченным и противопоставляется слову-лжи. У Галича молчание относится к поддержке власти, подавляющей право на свободную речь, и противопоставляется правде-гласности. Даже слова, выражающие эти два типа молчания, могут быть разделены на две группы. В тютчевскую, мистическую, войдут «безмолвие», «немота», «умолкание»; в галичевскую, политическую, «умалчивать», «замалчивать», «промолчать», «помалкивать».

Такая раздвоенность "молчания" не уникальна для русской культуры. На Западе имеют хождение обе концепции, причем обе в среде нон-конформистской. Одна выражена в книге Сюзан Зонтаг «Против интерпретации» (1966) и в ее статье «Эстетика молчания» (1969) и в книге Ролана Барта «Удовольствие текста» (1973): «Настоящее наслаждение не может быть высказано» (Барт). «Наиболее развернутым и тщательным описанием формы было бы молчание» (Зонтаг). В то же время Зонтаг отметила, что «наше время полнится шумом от призывов к молчанию» — упрек, который можно предъявить и Тютчеву, и всем громко и красноречиво выступающим в защиту молчания. "Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер", – вполне ораторски закликает Маяковский революционных матросов. Наиболее последовательно положительная концепция молчания проявляется в самом молчании — молчании затворников, отшельников, мистиков.

Другая, отрицательная концепция молчания несет политический смысл. С этой точки зрения, молчание — знак политического гнета, а не мистического углубления: результат *замалчивания*, вытеснения определенных голосов из культуры. Замолчанные должны обрести свой

голос, разорвать пелену безмолвия, которая их окружает в политически одномерном обществе.

Очевидно, у самого молчания есть две разновидности: политическая и мистическая. Если свобода слова — священное право каждого гражданина, то молчание означает рабство, гнет, покорность. Молчание в данном случае трактуется как тишина, приравнивающая человека к бессловесной твари, к животному. Культура — область знакового поведения; человек, в отличие от животного, предназначен словесно выражать свои мысли и чувства. Но и уровень "политического животного" — гласность, прения, красноречие — не вмещает всего человека. Как слово выделяет его из природной тишины, из дикой бессловесности, так умение молчать ставит его над словом, над уровнем политики и культуры. Это уже не предсловесное, а *засловесное* молчание, которое содержит в себе полноту невыговариваемого Слова, как на упомянутой выше иконе «Иоанн Богослов в молчании». К такому молчанию призывают мудрецы и поэты. Гуань-цзы: «Звук произнесенного слова громче, чем раскат грома или бой барабана». М. Хайдеггер: «Подлинный» человек говорит «подлинно», лишь когда он молчит». ⁴¹ Д. Веневитинов: «Блажен, кто молча был поэт». ⁴²

И у Грибоедова, и у Галича преобладает политический подход: голос и гласность есть прорыв низшей, дремучей, покорной, трусливой немоты, осознание своего человеческого достоинства. Для Тютчева, как впоследствии и для Мандельштама, с их философско-мистическим миропониманием, молчание есть прорыв словесной, культурной пелены, окутывающей говорящее животное. Это рождение в высший, таинственный мир, где человеческое встречается с божественным и умолкает, поскольку может воспринять и произнести божественное слово лишь полнотой своего молчания.

Да обретут мои уста

Первоначальную немоту,

Как кристаллическую ноту,

Что от рождения чиста!

Мандельштам. Silentium.

⁴¹ Цит. по кн. В. В. Налимов. Вероятностная модель языка, М. 1979, С. 112.

⁴² Подборку разноконфессиональных высказываний о молчании можно найти в A Treasury of Traditional Wisdom, presented by Whitall N. Perry, Cambridge (UK), Quinta Essentia, 1971, pp. 987-993. О мистике молчания в византийской культуре см. С. С. Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. М., Наука, 1977, сс. 55-56.

Понятно, что эта немота, "чистая от рождения", — иной природы, чем приглушенность речи в другом стихотворении Мандельштама:

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны...

Вопрос в том, может ли предсловесное молчание, присущее рабству, выражать собой или символизировать надсловесное молчание, свойственное мудрости. Особенность русской традиции — толкование политического молчания как мистического, поиск единства этих двух форм молчания и, значит, истолкование подавленного, «грибоедовского» молчания как углубленного «тютчевского». Молчание-покорность и молчание-таинственность воспринимаются как единое многозначительное молчание. Личность или народ молчат оттого, что им не дают говорить, затыкают рот, их слово не предусмотрено устройством общества, они лишены права на самовыражение. Но велик соблазн истолковать этот сомкнутый рот как намеренно приложенный к губам палец, как знак умолчания о самых существенных, священных глубинах бытия и веры.

Совершенно ясно, например, что в 1930-е-1950-е гг. молчание русских мыслителей, оставшихся в СССР, было политически вынужденным. Флоренский, Лосев, Бахтин, Голосовкер и другие нам неизвестные, несостоявшиеся мыслители замолкли надолго или навсегда, потому что их заставили замолчать. Но когда молчит говорящее и мыслящее существо, даже вынужденное молчание начинает восприниматься как слово. К тому же названные мыслители молчали *вдвойне*: во-первых, потому что не говорили того, что хотели бы сказать; во-вторых, потому что не говорили того, что от них хотели услышать. Это молчание сочетало в себе покорность властному запрету на свободное слово и одновременно сопротивление властному требованию послушного слова. В советской России вырос новый тип молчания, которого почти не знала Россия дореволюционная — *смелого молчания*, как знака несогласия, что выразилось и в солженицынском призыве «жить не по лжи». Если нельзя свободно говорить, то все-таки можно свободно молчать — не поддакивать, не рукоплескать. Между свободным молчанием мудреца и покорным молчанием раба есть еще молчание полусвободного человека.

Отсюда попытки истолковать политическое молчание как мистическое, например, у В. В. Бибихина. «В 20 в. есть десятилетия молчания русской мысли. Это — говорящее молчание. Новая мысль у нас не сможет начаться, не вслушавшись прежде в молчание 20-го в. /.../А что если то молчание было сообщением? О чем оно тогда говорит?»⁴³

⁴³В. В. Бибихин. Язык философии. М., Издательская группа «Прогресс», 1993, с. 36.

Такова традиция истолкования «вековой тишины», в которой можно прочесть и забитость, покорность народа, и его мудрость, несуетность. Такова традиция русского православия, которое молчало и потому, что поддерживало власти предрержащие, и потому, что правила смирения обязывают к молчанию. Неотмирность православия как бы сочетала священный долг и житейскую выгоду молчания, аскетизм с конформизмом, и одно перекодировалось в систему другого.

9. Формативное, информативное и фиктивное слово.

Самопожирание языка

Как уже упоминалось, исследователи говорят о тишине России в допетровское время, о странной немоте русского народа. Николай Бердяев в «Русская идея» пишет о «безмыслии и безмолвии допетровской Руси». ⁴⁴ Как отмечает Георгий Флоровский в «Путиях русского богословия», «Русский дух не сказался в словесном и мысленном творчестве...» ⁴⁵ Чаадаев видит эту печать молчания, или, скорее, немоты, не столько невыразимости, сколько невыразительности, даже на лицах своих соотечественников: «В чужих краях, особенно на юге, где лица так одушевлены и выразительны, я столько раз сравнивал лица моих земляков с лицами местных жителей и бывал поражен этой немотой наших выражений». ⁴⁶

В послепетровское время наступает пора речевой экзальтации, избытка речи, причем по нарастающей: XIX век многоречивей XVIII-го, а XX-ый вообще взорвался каким-то немислимим изобилием слов. Но, как ни странно, все это словоизвержение, слововерчение производит впечатление немоты, т.е. речи, заглушающей саму себя и превращающейся в форму молчания. В 1840-е годы, с приходом в культуру разночинцев, таких как Белинский и Чернышевский, французский «аристократический» язык начинает выходить из употребления, зато русский язык вбирает множество иностранных слов, в основном, политических терминов: «социализм», «буржуазия», «прогресс», «реакция», «солидарность», «эксплуатация», «эмансипация», «обскурантизм» и другие, составившие костяк революционно-демократической, а затем и советской фразеологии.⁴⁷ С этого времени русская культура впадает в речевой

⁴⁴ Николай Бердяев. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Париж, YMCA-Press, 1971, с.8.

⁴⁵ Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия (1937). Париж, YMCA PRESS, 4-ое изд., 1988, сс.1, 503.

⁴⁶ П. Я. Чаадаев. Сочинения. М., «Правда», 1989, с. 23.

⁴⁷ См. Ю. С. Сорокин, Развитие словарного состава русского литературного языка 50-90 годов 19-го века, М, 1965, сс. 30, 31

транс, в неистовство, хлыстовщину и хлестаковщину, захлестывает себя словами, среди которых много чужих, едва понятных, но звучных и правильных, — вертится и приседает, ведет себя, как шаман, заговаривающий общественную боль, «бубнит и бьет в бубен». Слова употребляются как заклятия, а не средства общения или сообщения. *Прогресс, интеллигенция, разум... Народ, Россия, спасение... Пролетариат, диктатура, коммунизм...* Если на буддистском Востоке впадают в транс молчания, то русская культура — в транс говорения. Но поскольку речь употребляется именно как самоцельное звучание-закливание, она впадает в молчание, перестает быть слышной, как переставали быть слышными громкие кличи и лозунги, ежечасно повторявшиеся по советскому радио. Это молчание возвращает нас к той тишине, которая была в допетровской, азиатской России, но уже на уровне непрерывно раздающейся и себя заглушающей речи.

Дмитрий Галковский отмечает в русском языке «предрасположенность к заболеванию бессмыслицей». ⁴⁸ Но это заболевание происходит от влечения к *сверхсмыслу*, когда слово не сообщает факт (информативная функция речи по Л. Витгенштейну), а существует на собственных правах, как «творческое да будет» (формативная функция речи по С. Булгакову). Именно формативная функция речи создает зону молчания внутри словесного шквала. Информативная речь сообщает ровно столько, сколько сообщает, она не накапливает в себе молчания. Русское слово оказывается формативно избыточным и одновременно информативно недостаточным, оно вращается вокруг себя и несет пустую воронку смысла.

Можно выделить три уровня слова: *святословие, смыслословие, пустословие*. На высшем уровне слово есть бытие или творчество бытия и может произноситься в молчании. На среднем слово сообщает о бытии, его звучание соотносится с реальностью, передает факт, обретает смысл. На низшем уровне слово не содержит в себе бытия и не сообщает о нем, оно лишено смысла и, хотя звучит полновесно, одновременно таит в себе немоту. Особенность слова в русской культуре — это проскакание между высшим и низшим уровнями, минуя средний. Пренебрегая «человеческой», информативной функцией и пытаясь взять на себя сразу «божественную» функцию, слово превращается в магическое или идеологическое заклинание и в конце концов — в чистую фикцию, в набор ничего не значащих звуков. Когда формативное слово исходит из человеческих уст и имитирует акт божественного творения, «да будет», не подкрепляясь информативным, познавательным-сообщительным актом, такое слово становится деструктивным, деформирующим, поскольку безразлично к данности своего предмета и лишь подчиняет его магическому заданию. Святословие переходит в пустословие, сверхсмысл — в бессмыслицу, поскольку не выдерживается средний уровень слова как знака, сообщения. Бессловесность оказывается изнанкой российской словесности.

⁴⁸Д. Галковский. Бесконечный тупик, с. 417.

Академик Иван Павлов, усматривавший отличие человека от животных в создании языка — «второй сигнальной системы»⁴⁹, тем не менее полагал, что у его соотечественников развитие этой системы зашло чересчур далеко.

"...Русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует. <...>...Русская мысль совершенно не применяет критики метода, т. е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни. <...> ...Красивая словесная гимнастика, фейерверк слов... Мы главным образом интересуемся и оперируем словами, мало заботясь о том, какова действительность».⁵⁰

Современный прозаик Вячеслав Пьецух называет такой отзыв академика о своем народе "страшным" и однако вынужден с ним согласиться. "Действительно, русский исповедует слово — это хорошо и ужасно одновременно".⁵¹ Хорошо, если слово формирует бытие, ужасно, если оно превращает его в фикцию. Препградой такому падению слова с верхнего, онтологического уровня на нижний, деструктивный выступает средний уровень — информативное слово, которое не изменяет и не подменяет бытие, а по мере возможности честно свидетельствует о нем.

Вот почему для слова так важно закрепить свой смысл на информативном уровне и уже от него подниматься к уровню формативному — иначе неизбежно падение до фиктивного уровня. Тогда, теряя и формативную, и информативную наполненность, слово превращается в исступленный звук, обступаемый громким молчанием Бога, народа, природы.

Такова судьба русского языка даже у Ф. Достоевского. Как подчеркивает М. Бахтин, "главным предметом его изображения является само слово.... Произведения Достоевского – это слово о слове, обращенное к слову".⁵² Но эта самообращенность слова может быть понята не только в положительном смысле, как диалог разных сознаний, но и как момент замкнутости и самооглушенности языка. Иосиф Бродский находил у Достоевского «всеядную прожорливость языка, которому в один прекрасный день становится мало Бога, человека, действительности, вины, смерти,

⁴⁹ Не отсюда ли, кстати, и языки культуры как «вторичные моделирующие системы» у советских семиотиков-структуралистов — термин, возникший на рубеже 1950-1960-х годов и явно претендовавший на материалистическую благонадежность? В этом случае было бы точнее назвать культуру «третьей сигнальной системой», поскольку вторая сигнальная система — это естественный язык.

⁵⁰ И. П. Павлов. Об уме вообще, о русском уме в частности. Вестник практической психологии образования, 3 (20), 2009, с. 15-16.

⁵¹ Наталья Селиванова. Интервью с Вячеславом Пьецухом. «Известия», 15 ноября 1997 г., с. 2.

⁵² М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского, в его Соб. соч., т. 6. М., Русские словари. Языки славянской культуры, М. 2002, с. 297

бесконечности и Спасения, и тогда он набрасывается на себя».⁵³ Это значит: начинает говорить о себе, переполняется самим собой, отвечает "отношением на отношение" — и умолкает, схлопывается в себя. На его месте остается черная дыра — "вековая тишина" во глубине России.

Что же такое эта тишина, которая особенно громко звучит, когда ее пытаются перекричать столичные витии? О чем это молчание — или эта тишина ни о чем? А если это молчание, то какое — мудрое или рабское? Таится ли в нем какое-то слово — или только отсутствие слов? Можно ли говорить от имени этого молчания, — или оно равнодушно к словам и в такой же мере придает им гулкость, как и заглушает их? И тогда вся ослепительная русская словесность начинает напоминать беседу зарниц — глухонемых демонов у Тютчева. Немое слово — в глухой тишине.

⁵³ «О Достоевском», в кн. Сочинения Иосифа Бродского. С.-Петербург, Пушкинский фонд, 1995, т. 4, с. 183.